

Фрагмент из романа

Hans Pleschinski
Königsallee
Roman

C.H.Beck Verlag, München 2013
ISBN 978-3-406-65387-2

C. 363-377

Ханс Плешински
Королевская аллея



ВИЗИТ С БЕРЕГОВ ТРАВЕ

Здесь про него знает каждый школьник. Курфюрст Иоганн Вильгельм Пфальцкий¹, герцог Юлиха и Берга, был великолепным барочным бонвиваном. Именно благодаря его правлению, его душевной щедрости и расточительству их городок возле Рейна, некогда тесный и сырой, превратился в Нижнерейнскую Флоренцию, в Маленький Париж, раскинувшийся посреди тугайных лесов. Этот представитель династии Виттельсбахов – к которому в результате легендарных пирушек с подданными, которые он устраивал *aus Spaß an der Freud'*, «ради радости как таковой», как бы само собой приросло ласково-просторечное имя Ян Веллем, – построил здесь, в *мусической пустыне*, первый оперный театр: сразу снискавший, благодаря своим примадоннам и кастратам, мировую известность; заложив какой-то ненужный клочок земли, курфюрст основал Дюссельдорфскую картинную галерею, которая (вплоть до того момента, когда ее насильственно «унаследовал» Мюнхен²) выставленными в ней «Вознесениями» Рубенса помогала воспарить в райские выси и многим специально приезжавшим сюда путешественникам. Предприимчивый *отец отечества*, чьи кутежи стали стимулом для развития всех ремесел, был еще и инициатором непрекращающихся маскарадов и балов во дворце; поэтому неудивительно, что для блага возвращающихся домой горожан (а также спотыкающихся носильщиков паланкинов, которые прежде, в темноте, нередко роняли седоков в сточную канаву), он велел установить одну из первых и самых ярких в Европе систем уличного освещения. Ян Веллем был человеком деятельным и наделенным хорошим вкусом. Мир его праху, покоящемуся в Церкви Апостола Андрея, теперь под обрушившимся сводом и временной крышей! А чтобы быстротекущее время никогда не смогло его устранить, этот жизнерадостный правитель – государственные долги за выпавшее ему на долю счастье наверняка пришлось выплачивать бедствующим потомкам – еще при жизни велел соорудить в резиденции бронзовый памятник ему самому, на высоком цоколе. Итальянско-фламандский мастер изобразил царственного всадника в доспехах, с париком и курфюрстской шапкой на голове, в натуральном рост; бюргеры, надо думать, с воодушевлением пожертвовали медь для дорогого монумента: так что теперь Ян Виллем, скончавшийся бездетным, скачет на своем капитальном зеленом жеребце, указуя скипетром на нашу *посюсторонность*; по счастью, ничуть не пострадавший при бомбежках, он скачет от рынка к Бургплатц на другом берегу реки; упитанный и непоколебимый, он вот-вот пересечет мост: будто по прошествии столетий все еще хочет осчастливить скупых жителей Нидерландов своими карнавалами и кипением артистической жизни. После него обстановка здесь, в Дюссельдорфе, как правило, куда больше напоминала сонное царство...

Четыре часа пополудни уже пробило.

В «гостиную Яна Виллема», на полуэтаже отеля «Брайденбахер хоф», быстро вошел кельнер с подносом в руках и поставил на стол стаканы, минеральную воду, тарелку с ломтиками *пумперникеля*³. Если ограничиться рамками отеля, трудно понять, почему лишь одно из его помещений, и при том далеко не самое востребованное, названо в честь *любимого отца отечества*. Но поскольку вообще в городе и в ближайшей округе каждая третья улица

1 Иоганн Вильгельм Пфальцкий (1658-1716); далее идет речь о Дюссельдорфе, превращенном этим курфюрстом в княжескую резиденцию.

2 Это произошло в 1805/1806 г., когда герцогство Берг на короткое время перешло под власть Баварского курфюршества: прежде чем герцогство досталось Наполеону, собрание Дюссельдорфской картинной галереи было вывезено в Мюнхен.

3 «Пумперникель» – вестфальский хлеб из ржаной муки грубого помола. Во времена ведьмовских процессов XVI-XVII вв. это слово употреблялось в значении «дьявол».

или площадь, каждое четвертое кафе украшены этим именем («Уголок Яна Веллема», «Бистро Веллема»...), гостиную, посвященную курфюрсту, решили – оригинальности ради – устроить в мезонине. Мезонин, в силу архитектурных особенностей здания, выглядит почти как кишка. Впрочем, его очень украшают восемь окон от пола до потолка, выходящих на внутренний двор. В этом обильно освещенном помещении имели место лишь относительно скромные события: празднования конфирмации, кофепития после похорон, один раз – заседание правления клуба спортивных танцев «Красное-Белое». Порой именно «гостиная Яна Виллема» неделями использовалась в качестве чулана.

Келльнер взглянул, достаточно ли приготовлено стульев, поправил гардины, чтобы между ними не было просвета, и удалился.

Несколько минут спустя перед дверью в гостиную, откуда ни возьмись, вынырнул *красный тампон*. Это огненное привидение не без труда толкнуло дверную ручку, заглянуло в «кишку», после чего вновь скрылось в том направлении, где располагались буфетная, а также мужской и женский туалеты.

На полуэтаже незаметно пролетело еще сколько-то спокойных мгновений. Из всех шумов в вестибюле сюда, через полукруглую лестничную площадку, доносился порой только звонок телефона.

– Это в самом деле было интересно. Театральный музей – хорошая вещь, Томми. На протяжении тысячелетий бесследно развеивался каждый звук, каждый жест, посредством которых актеры околдовывали и переносили в какой-то иной мир свою публику. Теперь, по крайней мере, можно увидеть веер из Strauss'овых перьев, которым обмахивалась Сара Бернар, послушать пластинку с записью Александра Муасси⁴, который дрожащим голосом произносит монолог Фауста: *Ликующие звуки торжества, зачем вы раздаетесь в этом месте*⁵... Боже правый, сколько пафоса тогда было. Нам это правда понравилось?

– Такое собрание и поучительно, и может доставить удовольствие.

– Да-да.

Пожилая пара медленно взбиралась по лестнице.

– А что они выставляют в Кунстхалле картины из Сан-Паулу, просто поразительно! Чего стоит одна только транспортировка через океан! И как вообще в Бразилию попали Рафаэль и Гольбейн? Мы не знали, что там кто-то собирает картины. Больше всего меня растрогал школьник работы Ван Гога. Малыша хочется прижать к груди, чтобы он не смотрел с таким ужасом в пустоту. Эту выставку люди будут брать штурмом.

– Хотелось бы, чтобы искусства остановили зло.

– Об этом ты очень удачно сказала, когда мы осматривали выставку.

Муж и жена останавливаются на ступеньках.

– После интервью ты должен пополоскать горло и прилечь.

Он кивает. У Кати Манн опухли лодыжки. Обязательное посещение музеев, как и следовало ожидать, утомило их обоих. Но бодрящие новые впечатления пока еще уравновешивают постоянный упадок сил. А легкое платье из тафты и светлый летний костюм оказались терпимыми даже при такой жаре.

– Вы позволите проводить вас в гостиную? – После того как господин Зимер, сидевший за стойкой администрации, быстро поднялся по лестнице, поклонился и одновременно шагнул на следующую ступеньку, супруги Манн тоже решились продолжить движение.

– Кюкебайн?

– Она из «Любекских новостей».

4 Александр Муасси (1879-1935) – знаменитый австрийский актер, албанец по происхождению; также снимался в немых фильмах.

5 Цитата из сцены «Ночь» в Первой части «Фауста» (перевод Бориса Пастернака).

– А теперь ее занесло в Дюссельдорф, – вздохнул писатель.

– Почему бы и нет? Любичане, видно, решили заранее подготовиться к церемонии предоставления тебе почетного гражданства.

– Эта дама уже появилась? – спрашивает Катя Манн.

– После того как она неоднократно нажимала на звонок, ее послали сюда, наверх. – Служащий отеля, кашлянув, оглядывается.

Чтобы журналисты не слишком расслабились, попав в частные апартаменты, и чтобы им не взбрело на ум прихватить какой-нибудь предмет на память (в Кливленде, например, у Томаса Манна пропал очешник), и вообще, чтобы встреча проходила по-деловому, на сей раз заранее договорились, что она состоится на нейтральной территории. Оскар Зимер открывает дверь в «гостиную Виллема» и пропускает гостей вперед. В Соединенных Штатах чаевые при такой okazji были бы обязательны, здесь же жена знаменитого писателя ограничивается благодарным кивком. В комнате, залитой теплым, мягким, профильтрованным через занавески светом, супруги занимают места на стульях, на которых им уже довелось сидеть вчера, в вестибюле. Новоготические, выточенные на токарном станке предметы мебели – с крутыми спинками и подлокотниками, между которыми хорошо чувствовали бы себя разве что испанские инквизиторы в момент оглашения приговора.

Катя Манн откашливается, ее супруг тоже.

– Максимум пятнадцать минут.

– Да уж, никак не дольше.

Благодатная тишина наполняет комнату-кишку. Но она тут не очень к месту. Где же эта любечанка, которая звонила с каждой железнодорожной станции, умоляя назначить ей время для интервью? Катя Манн смотрит на часы и наливает в стакан воду. От охлажденной минералки ей становится легче.

– Будешь читать отрывок о цирке?

– Или тот, где Круль приходит к мадам Гупфле.

– Как хочешь, – уступила она, – скоро мы поедем домой.

Каждый из них уже бросил нетерпеливый взгляд на дверь.

– Обязательно ли было приглашать старых Хойзеров?

– Ах, Томми! – Она схватила его за руку. – Я и Бертраму послала телеграмму. Ты должен с ним помириться. Он живет всего в нескольких километрах отсюда. Не нужно, уезжая из этого города, оставлять за спиной больше вражды, чем необходимо.

Томас Манн будто окаменел.

– Он исключил из списка сжигаемых книг твои.

– И за это я должен быть ему благодарен?

– Нет, – говорит Катя Манн (через плечо) мужу, сидящему рядом с ней, – но я знаю, что ты сам страдаешь от своей непримиримости. Просто подай руку Бертраму... скажи: я хочу думать о хорошем и больше не вспоминать о плохом. Ваши советы я когда-то очень ценил, о последующей же вашей деятельности пусть судят потомки... Ему и так не то отказали в пенсии, не то сократили ее. А после ты сразу займешься другими гостями.

– Ты думаешь, он этим удовлетворится?

– Ему придется. – Она тяжело вздохнула. – Да. Хойзеры тоже будут, – продолжила почти шепотом, – в крайнем случае мы скажем, что ты нездоров, и тебя заменят Эри и Голо.

Он смущенно взглянул на нее:

– Я никогда не уклоняюсь, Катя. Ты же знаешь.

– Посмотрим, – прошептала она. – Вечер будет нелегким.

– Бертрам, Хойзеры... – я как-нибудь с этим справлюсь.

– Интересное это семейство, – заметила она, непривычно запинаясь (может, после подъема по лестнице). – И не такое уж маленькое.

Томас Манн, махнув рукой, прервал дальнейшие пояснения. Двумя пальцами беззвучно

забарабанил по спинке стула. Неслыханно, что провинциальная журналистка заставляет нобелевского лауреата ждать ее в сумеречной комнате-кишке. Уже хотя бы во имя искусства, из уважения к нему нужно прекратить бессмысленное ожидание и отодвинуть встречу на неопределенный срок. Томас Манн поднялся, бросил взгляд в окно, у его супруги тем временем вырвалось неопределенное «Ааах». Он обернулся, но ничего не увидел, кроме *красного*, чего-то красного на полу, над полом, кроме какой-то проворной клецки, шаровой молнии, которая приближалась: красные туфли, блестят, волосы сверкают той же краской, костюм цвета огненной лилии, ноги как сабли – слава богу, не в красных чулках.

– Томми! – донеслось до него.

– Фельетон с балтийского побережья! – услышал он. – «Любекские новости»: часто ругаемые, много читаемые, по крайней мере там, где они продаются. Пардон, я не опоздала. Скорее пришла слишком рано. А теперь, по видимости, все-таки припозднилась. Кюкебайн, Гудрун. О, какое счастье, какая неслыханная честь. Томас Манн. Готов дать интервью. Любая коллега, родившаяся позднее, будет мне завидовать. Я вправе задавать ему вопросы. Я. Он, возможно, ответит. И рядом царственная супруга. Ох, мое паломничество уже вознаграждено. Я вижу вас. Дышу одним воздухом с вами. Могла бы дотронуться до ваших шнурков, Томас Манн. И сверх того – египетская царица нашего времени. Из мусического дома Прингсгеймов. Кого только эти двое не видели, с кем только не разговаривали! С Альфредом Дёблином и Густавом Малером, Гофмансталем и Рихардом Штраусом, с Густавом Штреземаном⁶?, с президентами и самим Папой... Вы чувствуете себя как дома во всем мире, и весь мир чувствует себя как дома в вас; о да, вы вечно новы, как Гёте, великий Манн! Находясь рядом с вами, буквально чувствуешь *круг земель* – я имею в виду, его цивилизованную часть со всеми сокровищами. Я постараюсь умерить свой пыл, ведь я всего лишь Гудрун Кюкебайн, которая в родном городе – или в том, что от него осталось, – вскочила в поезд, чтобы немногими строчками интервью настроить ваших соотечественников (или, точнее: бывших соотечественников) на посвященную вам торжественную церемонию, которая состоится в следующем году. Томас Манн, из-за вас я совсем потеряла голову, что нехорошо для минималистского разговора. Вам, вашей славе суждена более долгая жизнь, чем патрицианским домам на Менгштрассе, которые там уже не стоят. – Но я уже взяла себя в руки. Вы скажете: какая избыточность чувств! Но разве не слишком часто бывает человек слишком трезвым и прозаичным? Жизнь нуждается в загородных прогулках – вылазках в область безумных сумасбродств и приятной фантастики. Иначе мы все впали бы в уныние, уподобились бы шарикам в шарикоподшипнике. Это было бы неправильно. Одним словом, я здесь.

Она была здесь. Несомненно. Шарик. В чем-то там... Катя и Томас Манн, хотя оба повидали мир, сейчас с трудом скрывали страх и удивление. Карлица. Выходит, фельетоны для Любека сочиняет карлица. Неудивительно, что служащий на рецепции заметил ее только после многократного нажатия звонка. Хотя по крайней мере высокая прическа из химически завитых волос, цвета рубина, наверное, возвышалась над краем стойки и должна была бы броситься ему в глаза... Фрау (или фройляйн) Кюкебайн воспользовалась перекладной для ног на третьем готическом троне как ступенькой лестницы и, взгромоздившись на сиденье, оказалась напротив прославленной пары. Из-за жары на лбу у нее выступили летние капельки пота, пудра слегка гранулировалась, а толстый слой помады, наверное, с самого начала влажно поблескивал.

– О, вы еще курите? – обратилась она со своего трудно обретенного места к писателю. – Тогда, может, вы и мне позволите. Я-то думала, в легендарно озабоченной здоровьем Калифорнии вы давно отказались от всех удовольствий.

6 Густав Штреземан (1878-1929) – немецкий политик (Немецкая народная партия), рейсканцлер и министр иностранных дел Веймарской республики.

Он уже взял себя в руки:

– Голубой дым успокаивает, когда это необходимо, не только нервы... (Как же к ней обращаться – *фройляйн* или *фрау*?) ...и вместе с тем является знаком свободы. Где подвергается запрету хороший табак, это поистине культурное растение, или ликер, там уже проложен путь для мелочной опеки или даже для тирании над самыми приватными аспектами жизни, фройляйн Кюкебайн. Запад, в первую очередь, создавал свою значимую цивилизацию благодаря опьянению, малому и большому, которое подпитывалось средствами, стимулирующими духовную жизнь. Холодный расчет и унылая озабоченность ничтожной проблемой сохранения здорового тела – и только – приводят к омертвлению общества. Горе рассудочно-усердным поколениям! Они оставляют после себя комплексы гимнастических упражнений вместо жизни.

– Я разделяю ваше мнение. – Гудрун Кюкебайн уселась поудобнее. – Но как раз сенатор Маккарти, американский гонитель коммунистов, и молодые арабские государства – что уже сейчас отчетливо видно в случае Саудовской Аравии и Иордании – сделали ставку на боевитых американцев и совершенно трезвый ислам. В этом смысле они очень похожи. Хотя Маккарти сам алкоголик. И саудовский кронпринц⁷ – тоже.

– Мы сейчас не будем обсуждать отвратительных лидеров с диктаторскими замашками и болезненные культуры, которые ищут спасения в запретах, угнетении и исключении инакомыслящих.

– Это действительно слишком обширная тема, затронутая нами лишь вскользь.

Катя Манн – наверняка внимательнее, чем ее супруг, сейчас успокоения ради куривший сигарету, – рассматривала претенциозно одетую журналистку. Костюм карлицы чуть ли не лопался по швам. Казалось, малышка представляет собой совокупность валиков (что, впрочем, часто бывает врожденной особенностью), но, как ни странно, они создавали впечатление хорошего телесного самочувствия. Когда мы смотрим на тучного человека (неважно, высокого или низкорослого), мы склонны верить, что между его внутренней жизнью и телом царит полное согласие. В данном случае стремление к классическому совершенству явно было сведено к минимуму. Фройляйн Кюкебайн порылась в кармане, заглянула бензиновой зажигалкой сигарету марки «Оверштольц»⁸, после чего сразу же достала блокнот и карандаш. Катя Манн улыбнулась, что выразилось в едва заметном изгибе губ. Может, знаменитые марципаны⁹ тоже несут долю ответственности за возникновение этого красного неудержимого изобилия, втиснутого в тесные рамки?

– Томас Манн – можно мне вас так называть, или вы предпочитаете какое-то другое обращение?

– Пусть будет так.

– Как вы работаете?

Катя Манн почувствовала разочарование. О ремесленном аспекте писательской работы его спрашивают на протяжении полувека, этот вопрос ему задавали десятки раз. Однако этот интервьюируемый, вопреки произнесенной им только что маленькой речи в защиту духовного опьянения, по праву может считаться чудом самообладания.

– Я работаю по утрам, до полудня. К сожалению, во время путешествий обычный рабочий ритм нарушается. Я привык работать в комнате. Я хочу сказать, что открытое небо, с солнцем вверху, способствует рассредоточению мыслей.

7 Фейсал ибн Абдель Азиз Аль Сауд (1903-1975), наследный принц с 1953 г. и король Саудовской Аравии в 1964-1975 гг.

8 Пачка сигарет этой марки сплошь ярко-красная.

9 Любек издавна славится производством самых разных видов марципана.

– Понятно: вы, значит, не импрессионист.

– Диктовать – такое не для меня. Я не могу использовать другого человека как посредника. Это отвлекает.

– Гм. Ничего человеческого...

– Я говорил только о посредниках.

Эрика ему многократно советовала не углубляться в эту тему. Публика, которая хотела бы заглушать собственные пороки, всегда жадно внимает рассказам о человеческих слабостях кого-то другого.

– Я никогда не переписывал большую рукопись и не просил кого-то ее переписать. Немецкие наборщики прекрасно справлялись с моим старомодным почерком, все без исключения. Что же касается общей концепции произведения – о чем вы, наверное, тоже хотели бы спросить, – то я ошибаюсь главным образом относительно его объема. «Смерть в Венеции» задумывалась как крошечная новелла в формате публикаций для «Симплициссимуса»¹⁰, «Волшебная гора» – как ее продолжение, маленькая сатирическая драма. Разбухание композиции основывается на двойственном процессе – мне стоит о нем упомянуть?

– Я очень прошу вас. – Держа на коленях блокнот, она записывала за ним, что-то поспешно корябалась.

– Речь идет о своеобразном процессе бурения и кристаллизации, а с другой стороны... – что-то, находящееся вовне, порой вовлекает тебя в сферу своего притяжения...

– Ах, ну да...

– Глубочайшая же причина – это, вероятно, желание всякий раз, будь то в «Фаусте» или в «Обманутой», выразить себя полностью. Я воспринимаю свое творчество как *фрагментарное*.

– Это, наверное, мучительно.

– Таков наш жребий. *И как недостаточное.*

– Ну что вы, господин доктор Манн...

– Есть такие строчки у Августа Платтена:

Сколько бы разных дел ни совершил человек,
Не явит себя никогда он как нечто цельное,
Разве не уподобится, когда закончится его век,
Венку, распавшемуся на цветки отдельные?

Эти стихи всякий раз, когда я их вспоминаю, будто хватают меня за сердце. Борьба за целостность есть, вероятно, не что иное как страх смерти.

Катя Манн поджала губы. Со стороны их визави теперь доносился только шорох карябающего по бумаге карандаша. Фройляйн Кюкебайн подняла напудренно-потное лицо, взглянула на них очень серьезно. И сразу стало ясно, что этой женщине, с которой жизнь обошлась сурово, которая наверняка и сама много чего знает о смерти, об ограниченном сроке борьбы за существование, можно полностью доверять. Она рассеянно сказала: «Я родом из Бад-Ольдесло¹¹. Но все детство провела на любекской Бекерсгрубе», – и тем немного разогнала темные клубы мыслей о смерти. То, что она, по ее словам, выросла в Старом городе, совсем недалеко от уже ставшего знаменитым, хотя и разбомбленного

¹⁰ «Симплициссимус» – сатирический еженедельник, издававшийся в 1896-1944 гг. в Мюнхене (позже несколько раз предпринимались попытки его возродить).

¹¹ Город в земле Шлезвиг-Гольштейн.

сенаторского дома¹², в какой-то мере смущало. Они, значит, в самом деле из одного города...

– Почему, – улыбнулась она, – у ваших книг так много читателей?

Томас Манн подпер подбородок рукой, от которой поднималась вверх струйка дыма.

– Удовлетворительно рассказать о себе и своей судьбе, о своем так называемом успехе и его причинах – это задача, которую на трезвую голову вряд ли кто способен решить... Я скажу только, что каждый художник делает именно то, чем он является, что соответствует его суждениям и потребностям. Нечестное художественное творчество, которое сопровождается постоянным вниманием публики, – такого просто не бывает. Что же касается «Будденброков», книги, так сказать, о нашем городе, моя фройляйн, то к ее судьбе – в чисто человеческом, непритязательном смысле – можно отнести слова, сказанные Гёте о «Вертере»: дескать, добрый гений автора еще в пору всемогущей юности побудил его закрепить недавнее прошлое, воссоздать его и, в благоприятный час, набравшись смелости, его опубликовать¹³. Я, впрочем, всегда пытался делать что-то новое. Если же говорить в общем и целом, то успех это случайность и между художниками вообще не должна заходить о нем речь, потому что он ничего не доказывает, не свидетельствует ни «за», ни «против». Если позволите, я в последний раз процитирую Платтена, этого мученика, в совершенстве владеющего формой:

Тысячи тысяч дарений между людьми распределяет
судьба,
Мне ж ничего не дала, кроме разве что дара слова;
Но я единственный сей талант отдавал под проценты и
так обрел
Друзей, и свободу, и радость, и имя, и кое-какое добро.

Обе женщины обмениваются холодными взглядами. В этих стихах явно не идет речь ни о браке, ни о трудностях ведения домашнего хозяйства. И вообще не упоминаются никакие бытовые навыки. Как известно, Томас Манн едва ли был способен хотя бы запереть садовую калитку.

– Вы хвалите, прославляете других поэтов...

– Почему бы и нет? Они оплодотворяют нас. Не каждый, конечно...

– Томас Манн, магия слова, мастером которой вы считаетесь...

– Как это – *считаетесь*? – резко перебила ее Катя Манн.

– ...мастером которой вы являетесь, это своеобразное благозвучие, которое открывает нам все богатство чувственных впечатлений, переносит нас в новый поразительный универсум: эту магию можно описать лишь по-дилетантски, – как если бы мы захотели поймать на слове музыку... (Журналистка с прибалтийского побережья, с которой судьба обошлась сурово, с впечатляющей уверенностью держалась в седле.) Вы вернули жизнь ушедшему в прошлое Любеку. Вы рассказали нам о конце прежней мировой гармонии, описав отчаянные звуковые эксперименты, посредством которых композитор Адриан Левекюн хочет еще раз, как поздний представитель культуры, создать примиряющее, объемлющее все чувства произведение. (Супруги удивлялись. Не без оснований, выходит, газета с берегов Траве – возможно, недооцененная – послала к ним свою *барышню-в-*

12 Имеется в виду дом родителей Манна.

13 Немного измененная цитата из «Поэзии и Правды», которая в полном виде звучит так: «К счастью, добрый гений автора раньше позаботился об этом и еще в пору всемогущей юности побудил его закрепить недавнее прошлое, воссоздать его и, в благоприятный час, набравшись смелости, его опубликовать» (Иоганн Вольфганг Гёте. Собрание сочинений. Том третий, стр. 457; перевод Наталии Ман).

красном.) Незабываемы созданные вами образы, среди них – жаждущий красоты и осмысленности Густав Ашенбах; а еще – циничный ученый Беренс, главный врач больницы в «Волшебной горе»: прототип протагонистов современной эпохи. Вы создавали порой и немощных, искалеченных персонажей – возможно, как образы человеческих слабостей или чтобы «подперчить» сюжет книги. Читателям ведь нравится, когда они чувствуют себя более здоровыми, хорошими или умными, чем описанные в романе люди... – Супруги Манн обиженно смотрят в потолок.

– А вот изображения ландшафтов, впечатляющие картины природы вам, как говорят, удаются редко. За этим кроется определенное намерение?

Клубы дыма поднимаются вертикально вверх над готическими стульями. Шокированная Катя Манн косится на мужа. Несмотря на нервное подергивание век, семидесятидевятiletний писатель, как кажется, спокойно затягивается сигаретой.

– Я по натуре скорее городской, чем деревенский человек. Родная почва и родные леса уже породили достаточно бессмыслицы. (Бесцеремонная журналистка записывает.) К тому же мне кажется, что духовно-нравственные конфликты, которые определяют нашу жизнь, отражаются не столько в описании соснового леса или схода лавины, сколько в диалоге, в мышлении, в поисках самого себя. Описанием таких процессов я и хочу заниматься. Я вам могу порекомендовать превосходные описания мангровых болот на Миссисипи – в текстах Уильяма Фолкнера. Вот там хлопковые поля и аллигаторы оказываются на своем месте. Каждый писатель делает лучшее, на что он способен – так я, по крайней мере, надеюсь, – и все их достижения складываются в некую целостность. В каком-то высшем смысле, конечно.

Катя Манн кивнула. Малышка никак не могла найти удобную позу, постоянно ерзала на попе, ее ножки – в красных туфлях на шпильках – болтались. Не без страха Катя Манн заметила, что два передних локона химической завивки – но нет, ей это только показалось – торчат, напоподобие загнутых рожек, над напудренно-влажным лбом.

– Лавины... – только что приехавшая подняла глаза, – конечно, и они, и примулы, и крокодилы порой оказываются пряной добавкой в нашей борьбе за существование.

– Вы совершенно правы.

– Но как тогда, господин Манн, обстоит дело со всеми социальными данностями, особенно с созданными человеком способами общественного давления, столь сильно влияющими на наше бытие? Из «Смерти в Венеции» читатель мало что может узнать о тесных жилищах, в которых, наверное, безработные венецианцы готовят лапшу. В вашей последней повести...

– Давайте лучше говорить: в *новейшей*.

– Да-да, верно... В повести «Обманутая» можно прочесть о вдове, жаждущей любви, о красивом студенте, но ничего – о наверняка скудной вдовьей пенсии и трудных, вероятно, обстоятельствах жизни Кена Китона. Вы осознанно исключаете из своих повествований повседневность с ее расселинами, рабочим потом, кухонными запахами и мусорной вонью? Вам никогда не хотелось написать пролетарский роман для трудящегося народа? Роман, в котором народ узнавал бы себя и мог бы благодаря этому выпрямиться?

Катя Манн шевельнулась:

– Сколько времени... я имею в виду, сколько места выделит вам газета для вашего интервью?

– Ах, – махнула карлица рукой, сжимающей карандаш, – для нашего нобелевского лауреата, светоча Германии, я могу без проблем зарезервировать целых две или три страницы.

– Заговорив о пролетарском романе – произведении, в котором часть народа могла бы узнать себя и извлечь из этого пользу, – вы наверняка думали о книгах, которые знаете. Иными словами, вы хотите от меня чего-то, что уже существует или что продолжало бы уже существующее, в том же духе. Люди, как это ни удивительно, всегда хотят чего-то такого, что

им уже примерно известно. Старая песня, но я-то такими вещами не занимаюсь. Через мою дочь вы определенно могли бы узнать адрес Бертольда Брехта в Восточной зоне, и вот с ним разговор о кухонных запахах, мусорных баках и прочем, что вы упоминали, получился бы более осмысленным. Густав Ашенбах приехал в Венецию не для того, чтобы обсуждать дренажную систему подвальных помещений на Каналь Гранде. По крайней мере, не этим определялось его душевное волнение, а желанием обрести совершенно невозможное счастье.

– Но во время холеры он мог бы заинтересоваться тем, что коммунальные власти не предпринимают в регионе Венето никаких санитарных мер.

– Мог бы, однако не заинтересовался. Потому, вероятно, что его в любом случае ждала гибель, два или три месяца ничего бы не изменили. Вы ведь не требуете от баритона, чтобы он размешивал строительный раствор? Или вы хотите иметь исключительно известь, а в оперных ариях более не нуждаетесь?

– Очко в вашу пользу! – признала фройляйн Кюкебайн. – Кстати о Восточной зоне... В США в последние годы вас подозревали...

– Меня много раз уличали в том, что я принадлежу к свободомыслящей части человечества, если вы это имеете в виду.

– ...подозревали в том, что вы всё с большей симпатией относитесь к коммунизму. Не странно ли это, если иметь в виду ваше происхождение и стиль жизни?

– Разве наличие у часов прилично оформленного корпуса как-то влияет на то, правильно ли они показывают время?

– Нет, конечно. Но половина мира уже попала под власть коммунистического режима. Блоки противостоят друг другу и готовы к смертельной борьбе. А вы тем временем получаете Гётевскую премию в социалистическом Веймаре.

– И во Франкфурте тоже; я, насколько хватает моих слабых сил, пытаюсь примирить две части Германии, разделенные убийственной рознью¹⁴.

– Одобряете ли вы *упразднение частной собственности*? Эту тотальную и осуществляемую в приказном порядке «предпосылку народного благоденствия», которую Восточная Германия сделала своим лозунгом? Хотя все это прекрасно сочетается с «гусиным шагом» и угнетением, как видно по тамошним военным парадам и человеческим лицам.

Томас Манн засмеялся и ткнул рукой со следующей сигаретой, которую только что зажег, куда-то в задымленный теперь воздух «гостиной Яна Виллема»:

– Где-то в Калифорнии, кажется, у Фрица Ланга, я слышал такую шутку: какие три бедствия для всего человечества породила Германия? Карла Маркса, архитектурные принципы Баухауза и Адольфа Гитлера.

В перелистывании скрепленного проволочной спиралью блокнота карлица тоже демонстрировала большую ловкость.

– Вы, пожалуйста, пришлите нам текст интервью, до его публикации, – вмешалась Катя Манн, – в Цюрих, для просмотра. Это ведь обычная процедура.

– Конечно. От уточнений интервью только выиграет, в смысле его заостренности. Хотя наши читатели, возможно, все равно не поймут все тонкости. (Хотела ли она таким образом их успокоить?) А как вы относитесь к Сталину и Вальтеру Ульбрихту?

– Даже рискуя, что вам в вашем тексте придется повторяться, фройляйн, я все же

¹⁴ Впервые после войны Томас Манн посетил Германию в 1949 г., в связи с празднованием 200-летия Гёте. Он был во Франкфурте-на Майне, где получил западногерманскую литературную премию имени Гёте, и в Веймаре, где ему вручили восточногерманскую Национальную Гётевскую премию. Во Франкфурте он сказал: «Я не знаю никаких зон. Я приехал с визитом в саму Германию, Германию как целое, а не в какую-то зону оккупации». Во Франкфурте он произнес речь «Гёте и демократия», которая через громкоговорители транслировалась из Паульскирхе на площадь, где собралось множество народу. В тот раз Томас Манн посетил также Штутгарт и разрушенный Мюнхен.

настаиваю на важности таких принципов, как свобода, справедливость и благоденствие. Думаю, с этой точки зрения лучшим временем, какое мне довелось пережить, было время Кайзеровской империи, Веймарской республики, Пасифик Палисайдс¹⁵ (почти до самого конца). Коммунистическая идеология по сути очень похожа на христианскую идею радикальной любви к ближнему. Но какие жестокости и ограничения всегда влекут за собой жесткие программы! Так что с гораздо большим удовольствием, от души, я бы присоединился к Шиллеру с его свободным призывом: быть человеческим, никогда не притеснять ближнего, не унижать его. Для жизненного девиза этого вполне достаточно... Вообще же затронутые вами темы – если позволите мне такое замечание – отвратительны, потому что связаны с идеологией.

– Нам приходится мучиться с тем, что невозможно переварить. Иначе на Земле давно уже был бы рай.

– И вообще это скучные темы, – заметила Катя Манн. – К нам, между прочим, обращаются многие попавшие в беду люди, со всего мира, – продолжила она (что вызвало заметный интерес со стороны ведущей протокол журналистки). – Недавно, например, Томас Манн вступился за преследуемых и заключенных в Восточной зоне. Это ведь правда, что инакомыслящие там привлекаются к суду, как когда-то противники нацистов представляли перед народным судом. Так вот, Томас Манн написал письмо тамошнему руководителю партии Ульбрихту. Четыре дня корпел над формулировками...

Пораженная маленькая журналистка впервые отложила карандаш.

– Это не надо записывать, – распорядилась фрау Томас Манн. – Такие вмешательства должны оставаться в тайне, иначе они не подействуют. – Что же ты, – обратилась она к мужу, – написал Ульбрихту и его партийным товарищам?

– Не надо...

– Она не будет это стенографировать.

Журналистка бросила на нее яростный взгляд.

– Или мы это вычеркнем.

– Что ж, я объяснил этому партийному секретарю: если коммунисты хотят мира... а я думаю, что они хотят... – повторил Томас Манн в затянутой сигаретным дымом комнате, – то он должен сделать всё, от него зависящее, чтобы способствовать распространению гуманизма. Он должен позаботиться, чтобы его тоталитаризм отличался, как небо от земли, от тоталитаризма фашистского. Используйте свою власть, написал я ему, чтобы осуществлять акты милосердия. Не будет милости упрямому безумцу, который мнит, что один владеет всей правдой и правом на неумолимую жестокость. К тому же, кто проявляет милосердие, когда-нибудь тоже отнесется милосердно.

В мезонине повисла подобающая тишина. И растворилось тихое «безупречно», выдохнутое карлицей с огненными рогами. Вскоре журналистка заметила золотую цепочку на жилете Томаса Манна. В кармане, очевидно, тикали те самые часы «в прилично оформленном корпусе», которые, как помнили знатоки, Томас Манн получил в 1905 году, в качестве свадебного подарка, от известных своим свободомыслием бабушки и дедушки его жены; эта бабушка – Хедвиг Дом¹⁶, – пламенная поборница женских прав, в свое время лишь с большой неохотой признала упряма, вторгнувшегося в их семью, и ранний брак своей внучки.

– Молодые читатели, Томас Манн, теперь охотнее обращаются к произведениям молодых художников и писателей. У каждого поколения свой жизненный опыт и потребность в соответствующих картинах мира. Это в порядке вещей. Но как вы справляетесь с таким

15 Район в Лос-Анджелесе, где с 1942 по 1952 г. жила семья Томаса Манна.

16 Хедвиг Дом (1831-1919) – немецкая писательница и теоретик феминизма; бабушка Кати Манн.

фатумом?

Несмотря на летнюю жару, которая в «кишке Яна Виллема» проявлялась как некоторая затхлость воздуха, после этих слов, казалось, повеяло ледяным сквозняком. Катя Манн молчала, поскольку запретила себе упоминать высокие цифры продаж, многочисленные проекты экранизаций. Ведь может случиться так, что недоброжелательная журналистка ответит: это, мол, последний всплеск интереса к работам ее супруга, последний урожай на уже истощившейся почве... Барышня в красном опять заерзала:

– Почти ваш современник – Франц Кафка, чье творчество вызывает всё большее восхищение и воспринимается как осмысление – в форме притчи – современного мира, основанное на изображении человека, который лишен всякой возможности самоопределения и всякой укрытости, который гибнет между жерновами анонимных сил. Вы лично знали Франца Кафку?

– Такого в моей жизни не было. – Теперь казалось, что сдержанность Томаса Манна есть результат самопринуждения, и фройляйн Кюкебайн с интересом за ним наблюдала. – Конечно, я поздно, как и многие другие, узнал Франца Кафку, глубину его проникновения в бытие; я воспринимал его с изумлением и удовлетворением, тщательно изучал; я понимал: этот столь несчастливый при жизни Кафка никогда не создавал *фальшивой видимости счастья*. Когда он показывает наше бессилие, я это воспринимаю как предостережение: как напоминание, что мы не должны беспомощно подчиняться тем силам, которые хотят нас унижить и погубить. Признаюсь... – он сделал паузу, обе женщины замороженно смотрели на него, – что при чтении кафковских кошмаров, связанных с манией преследования, я часто невольно начинал смеяться. Каждое существо у него настолько угнетено или угнетает других... никакого воздуха для дыхания, хотя прочувствованно это грандиозно, и смех остается единственным спасением, отказом подчиниться... Потом ты возвращаешься в собственную повседневность и тащишь привычную лямку, можно сказать, охотно, как будто стал умнее.

– Вы смеетесь, когда Грегор Замза утром просыпается в постели жуком?

– Да, и тут я смеюсь, потому что это настоящая притча, но *не вся жизнь* – в жизни иногда попадает еще и радующая нас чашка кофе. Утрата способности определять свою жизнь, которую подразумевает ваш вопрос, как мне думается, всегда есть проявление *личной или общественной несостоятельности*, а этому состоянию необходимо что-то *противопоставить*.

Все трое, как по команде, глотнули воды, *пумперникель* же оставили нетронутым. В беседе, неожиданно принявшей неприятный характер, наступила, похоже, патовая ситуация. Может, эта никому не ведомая Кюкебайн приехала специально, чтобы подпилить ножки трона?

– Мне нужно вот что узнать, Томас Манн. Новый экзистенциализм, театр абсурда, Сэмюэл Беккет... вам вообще что-то говорят эти духовные вулканические извержения?

Катя Манн откинулась на спинку стула. Будь сейчас на столе колокольчик, она бы позвонила.

– Если бы я писал дневник... – он дотронулся безмянным пальцем до брови, – вы бы нашли там ответ на свой вопрос, прописанный черным по белому.

– А вы разве ничего такого не пишете?

Он не ответил.

– Как вы сами себя позиционируете, это ведь важно...

– Разве?

– ...позиционируете себя в духовном ландшафте, в той внутренней пустыне, что возникла после войны, когда ни в какое спасение уже нельзя верить. *Верность, отечество, церковь* показали свою неспособность противостоять массовым убийствам, *человечность* не спасла от разрушений и кровопролития. Театр абсурда, экзистенциализм: они как раз и

свидетельствуют о том, что мы – всего лишь беспомощные насекомые.

– Это уже интереснее, я имею в виду последние вопросы, – вырвались у острой на язык Кати Манн слова, отчасти подсказанные ее врожденным дипломатическим даром, – чем то, что обычно хотят узнать ваши американские коллеги.

Но фройляйн Кюкебайн невозмутимо продолжила:

– Что же вы сами даете травмированному поколению, в качестве дара на будущее? Утешение или развлечение?

Томас Манн, казалось, был близок к тому, чтобы сейчас же встать и попрощаться. На виске у него билась жилка. Вместо того чтобы – как бы это сказать? – ответить какой-то светской фразой, он вспомнил слова, которыми заканчивается его роман о композиторе Леверкюне и гибели одного из миров: «Скоро ли из мрака последней безнадежности забрезжит луч надежды и – вопреки вере! – свершится чудо? Одиноким человек молитвенно складывает руки: боже, смилуйся над бедной душой друга, моей отчизны!»¹⁷

Старый Манн сглотнул.

– Ты спас много жизней, – жена сжала его руку, – ты внес во тьму мысль, искусство, богатство слов. Ты спас и немецкий язык, ты – совесть человечества. Я благодарна тебе.

– А я – тебе.

Любечанка, застывшая в неподвижности, видела, как Катя Манн вроде бы хотела провести тыльной стороной ладони по щеке, но тут уголки губ у нее дрогнули и она взглянула на свои большие наручные часы:

– Томас Манн сегодня вечером будет читать отрывок из романа. Я думаю, нам пора.

– Вы обогащали и продолжаете обогащать нас образованием, Томас Манн.

– Я не очень понимаю, о чем вы, – нервно ответил он.

– Вы недавно осчастливили меня стихами Платена. Сферы познания в сегодняшнем мире меняются. Радио, молодое телевидение, спорт, чудовищная тяга к путешествиям, как мне кажется, не позволяют людям глубоко погружаться в прежние сокровища культуры. По прошествии какого-то времени будут ли нас вообще понимать?

– Может, все дело в том, что надо заботиться о нормальном школьном образовании. Культура с каждым поколением предлагает все больше возможностей для развертывания личности. Кто не знает Платена, тот вправе узнать его. Никакой более важной задачи, чем расширение, с любовью и симпатией, гостеприимных пойменных лугов человеческой духовности, у нас нет.

– И на этом точка! – сказала его жена. – Конечно, мешок с соломой можно молотить сколь угодно долго. Но если в обществе преобладает равнодушие к знаниям, то результатом будет в лучшем случае взметнувшаяся в воздух пыль. Ведь и красивым человека не сделаешь по распоряжению свыше.

– Вот мы и об образовании поговорили. – Журналистка уже добралась до последней или предпоследней страницы блокнота.

– Нам в самом деле пора. Не забудьте прислать предварительный текст интервью. Моя дочь – можно сказать, гениальный корректор.

– Дьявольская нехватка времени, – пожаловалась журналистка.

– Ну-ну, – услышала она от писателя, которому, похоже, такая формулировка, как ни странно, понравилась.

– Кстати, по поводу «дьявольского», Томас Манн... – она теперь сидела на самом краешке стула, глядя ему прямо в глаза, – Выражается ли оно и сейчас в отдельных личностях и

17 Томас Манн. Доктор Фаустус. М.: Художественная литература, 1975, стр. 579; перевод С. Апта и Наталии Ман).

демонах, которые сидят, покачиваясь, на кушетке¹⁸ и делают неотразимое предложение: приобрести ценой своего душевного спокойствия, в вечной жизни, власть, влияние, славу – в жизни земной; которые, иными словами, превращают человека в продажного и опустившегося лжеца? Или же зло – это бесконечные заросли кустарника, из которых мы не можем выбраться?

– Что же вы хотите предложить моему мужу? – возмущенно спросила Катя Манн, приподнимаясь со стула.

– Ничего, – успокоила ее карлица и улыбнулась влажными валиками-губами, – ничего. Кроме, так сказать, закругления вашей славы. «Любекские новости» не имеют миллионных тиражей. Однако всё, что написано, остается задокументированным.

– Неслыханно! Это просто шантаж.

– О вас, Томас Манн, конечно, никак не скажешь, что вы вступили в сделку со злом. Но признайтесь: разве своим авторитетом вы не обязаны отчасти именно борьбе с преступным началом? Разве нельзя сказать, что вы во многих отношениях *триумфально связаны* с Адольфом Гитлером? И потому должны быть ему благодарны?

Катя Манн едва сдерживала себя; у ее мужа вырвалось: «Какое безумие! Это хуже, чем химера!»; сама же Кюкебайн, казалось, вот-вот лопнет от нетерпеливого ожидания.

– Братец Гитлер, вот уж воистину... – И тут Томас Манн тоже поднялся. Он смерил взглядом маленькую упитанную барышню, примостившуюся на краешке стула; возбужденно прошелся по комнате; остановился, уперев руки в боки, напротив своей мучительницы.

– Я больше не хочу, чтобы его имя часто слетало с моих губ. Я не искал конфликта с ним. Этот конфликт разрастался, вопреки моей натуре, с течением времени. Каждый предпочел бы быть придворным поэтом у достойного любви маркграфа Баденского¹⁹ или у великолепного дюссельдорфского всадника...

– Но это не принесло бы вам такой славы.

– Гитлер, конечно, – олицетворенная катастрофа. Но это еще не основание, чтобы не находить его характер и судьбу интересными. Я от всей души желаю, чтобы это общественное явление вечно привлекало к себе внимание, как образец позора. Вагнерианство, в худшем его виде, – таков феномен Гитлера. Артистичность, да... Разве мы не должны, хотим мы того или нет, распознать в этом роковом выродке форму проявления художественного начала? В нем, как это ни стыдно для нас, соединились все черты художника: трудный характер, леность, дурацкая склонность к погружению в самые нижние слои социальной и духовной богемы, и тут же – стремление к преодолению, подчинению других своей воле. И еще в нем есть ненасытность, неуспокоенность; забвение прежних успехов, их быстрое *изнашивание* как средства укрепления собственного самосознания; готовность любой ценой *пробомбить* себе свободный путь; ощущение пустоты и скуки, когда не происходит ничего нового и мир уже не смотрит на тебя, затаив дыхание. Братец... неопишимо сильно действующий мне на нервы. Он научил меня одному некрасивому, но необходимому чувству: ненависти. Если я и вырос *благодаря* такому ненавистному брату, то есть благодаря ему стал беспощадным к тем, кто искажает унаследованные нами ценности и блага, то все же я горжусь, что, пусть мне и нелегко это дается, *представляю другую Германию*.

– Похоже на ваши зажигательные речи по *бибиси*...

18 Как дьявол в «Докторе Фаустусе»: цит. изд., стр. 265.

19 Титул маркграфов Баденских существует с 1918 г., со времени ликвидации великого герцогства Баденского. Здесь имеется в виду, скорее всего, третий из маркграфов – Бертольд маркграф Баденский (1906-1963), глава Баденского дома с 1929 г. В 1933 г. он приезжал к Гитлеру, пытаясь защитить еврейского педагога Курта Мартина Хана (1886-1974), которому после отказа Гитлера помог эмигрировать.

– И еще я хочу высказать предостережение. Эта страна, этот народ не должны во все грядущие времена быть сверх меры озабочены таким убогим чудовищем. Время, которое я имею в виду, еще не наступило. Но когда-нибудь позвольте этому грандиозному мошеннику сойти в мир теней: иногда вспоминайте его, конечно, как нечто ужасное, однако себя ощущайте новыми гражданами, цивилизованными и исполненными врожденного, неотчуждаемого человеческого достоинства, которое является единственной мерой для наших поступков и помыслов. Маленьким волшебством и тайнами вы будете по-прежнему наслаждаться и сохраните их для себя. Ибо *этим* человек может быть: загадочным и благожелательным спутником на нашем жизненном пути. А всё прочее едва ли заслуживает упоминания. *Пугало* – это не определение ни для кого.

– *Эруптивное*, Томас Манн, – вот чего я искала в вас! Я ждала, когда вы покажете свое нутро, неважно, в какой связи... Просто мы инстинктивно ждем от другого человека безудержного порыва, и я хотела, чтобы вы тоже однажды утратили контроль над собой, чтобы заговорили с нами всеми своими потрохами...

– Что у вас за образы! – возмущенно воскликнула Катя Манн.

– И вот я удостоилась того, чтобы пережить такое.

Все трое стояли теперь рядом со своими стульями или перед ними. В «гостиной Яна Веллема» вокруг них курился сигаретный дым. Из запланированной уютной четверти часа получилось многое. Свет за окном приобрел более молочный оттенок. Журналистка, вместе со своей прической, доставала писателю до груди, его супруге – чуть выше пояса.

– Я люблю ваши книги. Вы ведь в этом не сомневаетесь?

– Для меня это честь, фройляйн Кюкебайн.

– Вы защищали меня в трудные времена. И я могла бы процитировать вам из головы – нет, из сердца – начало романа об Иосифе... *Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?*²⁰

– Где... – Катя Манн, вдруг испугавшаяся, спросила, слегка наклонившись вперед, – где же вы провели худшие годы? Как выжили?

– Родители нелегально вывезли меня в Данию. И там я пряталась у наших знакомых. Что при моем росте было не особенно трудно.

Рослые супруги застыли, словно окаменев.

– Одна подруга, со школьных времен, у меня еще есть. Другие карлики Любека погибли в газовой камере.

²⁰ Томас Манн. Иосиф и его братья. М.; Памятники литературы, 1991, стр. 9 (перевод С. Апта).